

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

О.Н. Яницкий

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК И ЕГО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ*

В статье обсуждается одна из самых острых проблем экологической политики. В современном обществе экологический риск существует преимущественно в форме знания о нем. Естественные и социальные науки ведут спор, порождая множество политических интерпретаций одного и того же риска. Корпус политически ангажированных экспертов становится все многочисленнее. Поскольку различные социальные акторы имеют дело с различными рисками, то становится все труднее определить социально приемлемый риск для общества в целом. Вместе с тем, растущее недоверие к науке побуждает население создавать свою собственную (защищающую) экологическую науку. В конечном счете получается, что экологический риск есть некоторый социальный конструкт, опосредованный культурой, политической традицией общества и наличными обстоятельствами жизни.

Введение

Политическая интерпретация данных наук об экологических рисках — это перевод их в форму социального действия. Выдвинутое в свое время В.И. Вернадским положение «об всеобщезначимости научных истин» сегодня является скорее этическим императивом сайентизма прошлого века. Наука уже давно утратила право ни «истину в последней инстанции». Науки спорят друг с другом, порождая множество интерпретаций одного и того же риска (пример тому — продолжающаяся до сих пор дискуссия о причинах Чернобыльской катастрофы). Интерпретаторы (раньше их

* Статья является вариантом главы из книги: **Яницкий О.Н. Россия: экологический вызов (общественные движения, наука, политика). Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2002**, опубликованной при поддержке Фонда Дж. и К. Макартуров (грант № 01-68199-000).

именовали популяризаторами), чувствуя слабость науки, начинают сами производить политически ориентированное знание. Корпус политически ангажированных экспертов становится все многочисленней. Поскольку разные социальные акторы озабочены разными рисками, становится все труднее определить, каков же в каждом конкретном случае социально приемлемый риск для общества в целом. Вместе с тем, растущее недоверие к науке побуждает население создавать свою собственную (защищающую) науку, способную сказать, как уберечься от экологических рисков «здесь и сейчас». Весь этот сложный процесс опосредован культурой и политической традицией данного общества. В конечном счете получается, что экологический риск есть некоторый социальный конструкт, опосредованный культурой и наличными обстоятельствами жизни.

В западной социологии и смежных с ней науках дискуссия о социальной и политической интерпретации экологических рисков продолжается уже более двадцати лет [1, р. 5–14; 2; 3; 4, р. 286–290; 5, р. 280–285; 6; 7]. Поэтому в данной статье мы остановимся только на некоторых вопросах темы, имеющих актуальное значение для современной России.

От науки к политике

Когда большинство наиболее опасных экологических рисков не воспринимается непосредственно органами чувств, но существует лишь в форме *знаний о них*, научные сообщества приобретают (теоретически) политическую силу. Эта сила существует в форме экспертного знания и экспертных оценок. Институт экспертизы становится абсолютно неустраняемым посредником между наукой и обществом. Эксперты не только планируют и контролируют экологическую политику, но и определяют степень *допустимого риска*.

На Западе политически ангажированные эксперты всегда подконтрольны той или иной группе интересов. Поскольку таких групп много, а конфигурации их альянсов в конкретных ситуациях меняются, то монополия науки (научного сообщества) на истину, равно как и на определение допустимого риска, разрушается: мнение одной экспертной группы «перекрывается» заключением другой, более мощной политически, и процесс оценки экологического риска становится бесконечным.

То, что подобные эксперты квалифицируют как «побочные эффекты модернизации», «непредвиденные обстоятельства» и «допустимые риски», для множества людей оборачивается болезнями, новыми расходами, страхом перед неизвестностью. Возникает стойкое недоверие к тем, кто «вычисляет» допустимые риски, со стороны тех, кого они поражают. Люди отворачиваются от науки и стараются обзавестись собственными «независимыми» экспертами или сами становятся ими. Они объединяются, возникают гражданские инициативы и экологические движения, выдвигающие такие требования, которые технократически ориентированным экспертам просто непонятны.

На первый взгляд, ситуация в России развивается именно подобным образом: произошло разделение академической и опытной наук, обе они

сильно политизировались, экологическое и другие социальные движения сформировали свои «защитные» научные организации (advocacy scientific communities). Противостояние государства и гражданского общества отразилось даже на «словарях», которыми оперируют эти социальные акторы.

Однако, как показали исследования последних лет, в том числе и мои собственные, генерализация этих тенденций преждевременна, так как функциональные и структурные характеристики процесса трансформации института науки и его взаимоотношений с зелеными в российском обществе иные.

Сегодня российская экологическая наука бедна и политически маргинализирована. Введение различных конкурсных систем в наших условиях быстро трансформировалось в соревнование знакомств и связей. Заимствованная на Западе практика грантов, «будучи вырванной из тамошней системы естественного экономического приоритета прикладных исследований, прекрасно вписалась в традиционную советскую схему существования науки “план–деньги–отчет”, когда основным результатом были груды исписанных бумаг» [8, с. 6].

Поскольку российская экологическая наука была поставлена в условия самокупаемости, начался отток ученых (равно как и квазиученых) во вновь формирующиеся институты гражданского общества и прежде всего в экологические неправительственные организации (экоНПО). Значительное число ученых-экологов стало политиками и публичными фигурами.

Не менее опасной, с точки зрения порождения экологических рисков, была утечка мозгов и среднего инженерно-технического персонала из сфер высоких технологий, особенно аэрокосмической и атомной. Возникла реальная угроза распада так называемых «закрытых городов» и других монофункциональных центров, находившихся ранее на полном государственном иждивении и занятых разработкой и производством военной техники [9]. Вот характерная реакция на этот процесс специалистов из «Рэнд корпорэйшн»: «Западная помощь... должна быть направлена на сохранение жесткого режима безопасности, существующего вокруг основных “закрытых городов”, а не на снятие связанных с ними ограничений» [Цит. по: 10, с. 187]. Не случайно одним из приоритетов сотрудничества ученых России и Европейского Союза названа «безопасность науки и техники» [11].

«Стратегия выживания для науки вообще бессмысленна — наука может только развиваться» [12, с. 15]. Поскольку развития не происходило, «переходный период» отмечен *растущей депрофессионализацией научных, экспертных и образовательных институтов*, а также властных структур всех уровней, пополнявшихся из среды полу- и квазипрофессионалов. Российская наука деградировала также вследствие возникшей *острой конкуренции* за финансовую помощь Запада между *общественными* организациями, что особенно характерно как раз для сферы прикладных исследований, ориентированных на обслуживание экологической политики и ее институтов.

Западные эксперты, определявшие с конца 1990-х гг. стратегию и формы финансовой и технической помощи России в сфере охраны природы,

сделали ставку не на развитие российской экологической науки, а на трансформацию российского экологического движения в сеть эконоНПО по западному образцу. Эти советники, видимо, исходили из лозунга российских эоактивистов: «Мы знаем лучше других, как охранять эту природу».

На первый взгляд, взаимодействие западных и российских эконоНПО выглядело как партнерство. В действительности же более сильные, хорошо организованные и имевшие мощную финансовую поддержку своих государств западные эконоНПО запустили в России процесс формирования экополитических институций западного образца *в совершенно ином социальном, политическом, экономическом и культурном контексте*. Что же получилось в результате?

Во-первых, и это самое главное для такого профессионального движения, как экологическое, большинство его членов, будучи постоянно занятыми организационной деятельностью, постепенно утрачивали тот профессиональный потенциал, который они накопили за годы учебы в университетах и аспирантуре. Да, учебные семинары щедро финансировались западными донорами, но программы этих семинаров не были специально ориентированы на повышение научного потенциала активистов.

Во-вторых, чем дальше, тем все более стратегия западной помощи российским зеленым заключалась в развитии их информационных, организационных, посреднических ноу-хау, но *не профессионального* потенциала. В большинстве положений о конкурсах на гранты западные доноры специально оговаривали, что гранты *не предоставляются* на проведение научных исследований.

Даже в тех случаях, когда проект, выполняемый при поддержке западных доноров, все же предполагал некоторые элементы исследования, цели проекта были столь прикладными (сбор исходной информации, овладение новым оборудованием), а сроки его выполнения столь короткими, что задача ознакомления с новой литературой, подходами, идеями, концепциями даже не ставилась. Что было вполне естественным, потому что Запад платил деньги на поддержание корпуса организаторов и технических исполнителей, а отнюдь не аналитиков-профессионалов. В условиях бедности массы рядовых активистов, их постоянной заботы о добывании средств к существованию и резкого ограничения доступа к научной литературе научный потенциал среднего российского эоактивиста сегодня остался на уровне конца 1980-х гг.

Показательно, что при разработке ключевых концептуальных блоков экологической политики, например, новой концепции особо охраняемых природных территорий, научными консультантами выступают бывшие эоактивисты, работающие ныне в различных подразделениях государственных служб по охране природы, отделениях международных фондов (например, Глобального экологического фонда), и просто чиновники, но не профессионалы-ученые. Подобно тому, как это происходит в среде нынешних политических институтов (Государственной думы, Федерального правительства), крупнейшие российские неправительственные организации предпочитают иметь «свой» круг экспертов и даже научных под-

разделений, нежели обращаться к независимым экспертам. В результате постепенно сформировался круг экспертов и научных групп, в том числе социологических, деятельность которых все более сосредоточивалась на конкретных «случаях» — проектах и программах. Целостный подход, по мнению ведущих ученых, российским зеленым недоступен [12, с. 15].

Социальная и политическая интерпретация экологического знания

Мы привыкли к «отчужденному» знанию, то есть к знанию как данности, как «научному факту», которому должна подчиниться социальная реальность. Между тем производство знаний есть динамичный социальный процесс, текущий в контексте различных нормативных систем, конфликтующих интересов и других (не-экологических) политик.

Поскольку экополитика представляет собой сегодня *сетевой процесс*, в котором участвует множество социальных акторов, то научное экологическое знание вносится в политический процесс во множестве точек. Это, в свою очередь, означает, что его различные участники по разному осваивают и политически интерпретируют это знание. К тому же каналы поступления этого знания в политический процесс вовсе не обязательно должны быть только политическими. Освоение экологического знания данным процессом происходит через разные социальные институты и информационные сети, а также посредством «средового» воздействия.

Именно здесь возникает теоретически и практически важная проблема *социальной и политической интерпретации* экологического знания различными участниками экополитического процесса, т.е. перевода этого знания на язык социального действия и политических решений. Сначала мы рассмотрим некоторую общую модель такой интерпретации, а потом — ее специфику в современном российском обществе.

Потребность в разработке методов социальной и политической интерпретации экологического знания возникает прежде всего в самих общественных науках, поскольку такая интерпретация есть один из способов освоения данных естественных наук теорией социального развития. Эта потребность определяется растущим междисциплинарным и программно-целевым характером социально-экологических исследований, необходимостью усиления их влияния на политический процесс. Кроме того, разработка методов социальной интерпретации необходима для наведения «моста» между теоретической (эко)социологией и комплексом прикладных политических наук.

Однако предпосылки (и необходимость) такой интерпретации значительно шире. Речь идет не только о совершенствовании природоохранного законодательства и других нормативных актов, но и об экологизации мышления и поведения людей, вовлеченных в самые различные сферы практической деятельности. В последнем случае эта интерпретация означает формирование таких понятий, чувственных образов и социальных практик, которые, максимально удерживая в себе новое экологическое знание, были бы в то же время доступны массовому «потребителю». И не

только доступны, но и побуждали бы людей к проэкологическому поведению, изменению строя своих мыслей и действий.

Рассматриваемая интерпретация имеет также общекультурное значение. Отдельные социальные, технические и организационные инновации должны быть осмыслены, освоены культурой в форме ценностей и норм. Между намерениями (программами) и экологической политикой всегда должны быть посредники, интерпретирующие порождаемые этими процессами социальные изменения с культурной точки зрения. Сегодня социальная и культурная интерпретация экологического знания жизненно необходима для формирования важнейшего структурного элемента массового сознания — уровня *социально приемлемого* риска.

Вообще говоря, социальная и культурная интерпретация явлений природы существовала задолго до появления науки. История человеческой культуры, ее религиозных, мифологических, бытовых и иных форм полна подобных интерпретаций. Это объясняется тем, что в давние времена человек полностью зависел от природы. И пока речь шла о ней как о неизменном мире средств его деятельности, знание о процессах и явлениях природы выполняло своего рода «сигнальную» функцию по отношению к этой деятельности. Иными словами, процесс перевода знания о явлениях природы, будучи уже закодирован культурой, осуществлялся человеческими сообществами автоматически.

Прямая связь между знанием и социальным действием имеет место и сегодня, когда природные опасности очевидны или же хорошо известны по прошлому опыту. Если, например, прогноз каких-нибудь резких природных аномалий (ураган, наводнение) достаточно надежен, то он просто служит «сигналом» для приведения в действие уже хорошо отработанного сценария чрезвычайных мер (людей отводят в безопасное место, сев откладывается, корабли меняют курс).

Иная ситуация складывается в том случае, когда экологическое знание выполняет функцию некоторого «ограничителя» технологических или социальных инноваций. Однако и здесь перевод экологического знания на язык социального (политического) действия фактически уже институционализирован (в форме норм социального действия и природоохранного и иного законодательства). В целом, такая непосредственная связь между знанием и социальным (политическим) действием существует тогда, когда общество действует в рамках устоявшихся взаимоотношений с природой, то есть когда эти отношения являются культурно санкционированными и институционально закрепленными [13; 14].

Выделим теперь три последовательных этапа эволюции рассматриваемой формы междисциплинарного (межсекторального) взаимодействия. Первый этап можно обозначить как этап *воздействия* экологического знания на все сферы практической жизни и политики. В социологии он отмечен появлением новой дисциплины — экологической социологии. Нет нужды говорить, что подобные же сдвиги произошли во многих гуманитарных дисциплинах — культурологии, социальной психологии, этике. Общим здесь является тот факт, что экологическое знание поначалу лишь

некоторым образом «накладывается» на существующий теоретический инструментарий наук, экологические «факты» ими объективируются, хотя еще не превращаются в социальные (политические, культурные) факты.

Ограничивающая функция данных естественных наук по отношению к человеческой практике особенно заметна в характере формирующейся экологической политики. Речь идет о так называемых экологических императивах. Наиболее известны экологические императивы Б. Коммонера: все связано со всем, все куда-то попадает, природа знает лучше, ничто не дается даром. В экологической социологии подобные ограничители породили класс понятий, обозначаемых общим термином «несущая способность» различных социоприродных систем, в практической политике — нормативов антропогенных нагрузок на ландшафты. На ограничительной интерпретации экологического знания основываются компенсаторные и защитные меры природоохранной политики.

Суть второго этапа составляет *освоение экологического знания* различными формами науки, политики и хозяйственной практики. На этом этапе экологическое знание начинает рассматриваться в качестве социальной ценности. В частности, экологические факты впервые признаются социологией в качестве социальных фактов.

В социологии этот сдвиг отмечен созданием на рубеже 1980-х гг. «Новой экологической парадигмы» [15; 16], в которой впервые «внешние» экологические ограничения, налагаемые на человеческую деятельность, были интерпретированы как ее внутренние социальные регуляторы. Тем самым, экологическая социология из разряда теорий среднего уровня перешла в разряд высокой теории — дисциплины, претендующей на концептуальное осмысление динамики социобиотехнических систем. В экономической политике это проявилось в попытках «встроить» экологические регуляторы в существующие рыночные экономические механизмы, в хозяйственной практике отразилось на растущем производстве экологически чистых продуктов питания, экологически безопасных жилищ, предметов быта и т.п. Начались также процессы институционализации собственно экологической политики на локальном, национальном и сегодня уже на международном уровне. В целом, этот этап я бы назвал сциентистским или прогрессистским в смысле роста социального и политического престижа экологического знания.

Нынешний этап социальной интерпретации экологического знания иной. Его общей теоретической основой, хотя и в различных вариациях, является концепция «общества риска», то есть *новая парадигма общественного производства*. Его главная политическая характеристика — перемещение «экологического вопроса» в центр публичного дискурса. Как пишет У. Бек, «глобальное общество риска повернуло социальные науки и публичный дискурс лицом к вызовам экологического кризиса, который, как мы теперь уже знаем, является одновременно глобальным, локальным и персональным» [7, р. 5].

Новый этап взаимоотношений между производством знаний, публичной сферой и политической практикой связан с новой фазой модерни-

зации стран «золотого миллиарда», процессами глобализации, изменением соотношения сил на мировой арене, геополитической нестабильностью и другими макросоциальными сдвигами, порождающими риски высокой степени опасности (ядерная и химическая война, парниковый эффект, генетические повреждения). Этот этап рассматриваемых взаимоотношений обусловлен также множественностью одновременно возникших «переходных» состояний, охвативших целые регионы мира: от простой к высокой (зрелой) модернизации, от рецидивирующей модернизации к демодернизации, от государственного социализма к дикому капитализму, а также другими причинами, провоцирующими ситуации высокой нестабильности и риска.

Следствием этих перемен явился методологически и теоретически важный сдвиг: переход от понимания экологических рисков как порождаемых «внешним» миром (именно поэтому оказался столь живучим расхожий термин «окружающая среда») к их пониманию как внутренне присущих каждому акту общественного производства, каждому «мирному» решению, каждому действию индивида или группы. У. Бек назвал этот феномен «концом “Другого”». «Конец “Другого”» — «это конец нашей тщательно культивируемой способности к «дистанцированию». Нищету можно «дистанцировать, но в отношении опасностей, порождаемых ядерными, химическими и генетическими технологиями — это сделать уже невозможно» [7, р. 62].

Второй сдвиг тесно связан с первым. «Вес» политического действия и его сфера по отношению к другим формам социальной практики резко увеличились. Казалось бы, поскольку большинство наиболее опасных и масштабных рисков являются невидимыми, роль научного знания должна была бы возрасти. Однако проблема в том, что, хотя наука и предупреждает общество о возможных рисках, она одновременно является их генератором. Более того, выявляя источники риска, наука не может, не успевает предсказать масштаб грозящих последствий.

Научное знание все более политизируется, превращаясь в инструмент борьбы политических сил. Резко возрастает и число участников политического процесса. В обществе риска практически каждый социальный актор становится субъектом политики. Как отмечает У. Бек, возникла «неполитическая политика» (множество «субполитик»), т.е. творимая за пределами легальных политических институтов. Возникла также уже упоминавшаяся адвокативная наука (*advocacy science*), защищающая интересы тех, кого официальная, в частности, экологическая политика не замечает или не хочет замечать. Так или иначе, социальная интерпретация данных естественных наук приобретает явно выраженную политическую окраску.

Вместе с тем, на Западе, в частности, в США, уже с середины 1980-х гг. экологический дискурс перестал быть арго для узкого круга посвященных. Напротив, инвайронментализм стал универсальным, общепонятным языком, хотя когда-то на нем говорила лишь элита общества. Как пишет К. Эдер, в течение последних лет произошла «институционализация ин-

вайронментализма и (вследствие этого) вторая трансформация публичной сферы». Экология стала базовым фреймом, то есть ключевым смысловым блоком публичного дискурса [17, р. 203, 205].

В России процесс шел в обратном направлении. «Экологический вопрос», находившийся полтора десятилетия назад в центре публичного дискурса (в котором научная и гуманитарная интеллигенция играли первую скрипку), постепенно перемещался на его периферию, пока не был низведен уже в наши дни до уровня организационно-бюрократической проблемы — какое ведомство будет «управлять» российской природой.

В целом, ослабленная и утерявшая общественный престиж российская наука все меньше вовлекалась в политический процесс. Политики и политические партии фальсифицировали процесс интерпретации экологического знания, превратив его в инструмент для конструирования предвыборных лозунгов. Группы интереса, стоящие за спиной этих политических сил, никогда не стремились к сильной экологической политике, а потому и не нуждались в политическом осмыслении «научных истин». В конечном счете, политическая интерпретация экологического и технического знания целиком была вытеснена пропагандистской риторикой.

Обратная сторона той же проблемы заключена в том, что в своей массе российский политик становится все более самодостаточной (если не сказать, самодовольной) фигурой. Такой политик всегда «знает лучше». На деле это означает архаизацию политики, поскольку в лучшем случае она опирается на принцип «так поступали раньше», в худшем — реализует принцип «по понятиям». Причем это касается не только невосприимчивости к новому знанию, но и использования традиционных моделей принятия решений. В «обществе всеобщего риска», каковым, по моему мнению, является сегодня Россия [18, с. 21–45], его политическая машина оказывается невосприимчивой к знанию о рисках, порожденных процессом принятия решений как таковым.

Одним из наиболее опасных социально-психологических последствий этого сдвига является полное отсутствие интереса избирателей к программным документам политических партий и движений (как сказал один эксперт по избирательным технологиям, «лучший кандидат — тот тот, который не выдвигает никаких программ вообще»). В «обществе всеобщего риска» нет реальной, практической возможности для рационального выбора, а посему и нет интереса к каким-либо научным, в том числе экологическим, моделям и прогнозам. Иными словами, *политически интерпретированное экологическое знание было вытеснено профессиональным манипулированием общественным мнением.*

В этом манипулировании ключевую роль играют средства массовой информации. Политический процесс подается избирателю не как соревнование научно обоснованных сценариев и программ, но как борьба могущественных групп, их рейтингов, мнений обслуживающих их экспертов относительно текущих событий. Все это перемежается картинками насилия и информацией из горячих точек. Таким образом, «виртуальный контекст», продуцируемый пиар-технологами, носит угнетающий и раз-

рушительный в отношении индивидуального сознания характер. Он подавляет остатки стремления людей к самостоятельному мышлению и, тем самым, делает информацию, основанную на научном знании, излишней.

В проблеме взаимоотношений науки и экологической политики есть еще одна, чрезвычайно актуальная для России сторона. Речь идет о случае, когда политический лозунг, *минуя научную рефлексию*, становится спусковым крючком для изменения фундаментальных основ российской политики вообще. Я говорю об идее «устойчивого развития».

Как известно, она была «вброшена» в российскую политическую машину с самого верха — декретом президента РФ в 1994 г. и «закреплена» соответствующими постановлениями. В течение последующих шести лет лозунг «устойчивого развития» усиленно разрабатывался в научных и государственных организациях (благо под тематику давали деньги — и российские, и валюту), все более напоминая печально известный процесс создания планов социального развития вплоть до отдельного рабочего места эпохи позднего брежневизма. Он даже дошел до стадии проекта «Государственной стратегии устойчивого развития Российской Федерации» (июль 1999), так и не став предметом публичного обсуждения.

Между тем, как становится все более ясным, экономическая и политическая интерпретация лозунга «устойчивого развития», даваемая Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и другими международными организациями, созданными Всемирным банком, далека от истинных интересов России. Фактически ГЭФ является еще одним инструментом подчинения России интересам транснациональных корпораций, превращения ее в сырьевой придаток Запада и продвижения стереотипов «общества потребления» на российскую почву. Словом, мы еще раз сыграли в уже известную игру: сначала взяли деньги на внедрение «чего-то» и лишь потом начали размышлять о последствиях содеянного. Этап научной и публичной рефлексии был пропущен. Неудивительно, что некоторые специалисты именуют сегодня идею «устойчивого развития» применительно к России «троянским конем» [19, с. 8].

Посмотрим теперь, какова роль российских экоНПО в социальной и политической интерпретации экологического знания и его трансляции в сферу экологической политики. Заметим, что на Западе экологическое движение и его организации в течение последних 20 лет превратились во влиятельного агента социальной и экологической политики общества и государства. НПО приобретают все больший вес в формировании политики в сфере наук и технологий, связанных с экологией. Но что особенно важно, такие НПО, как Институт мировых ресурсов (World Resource Institute) и Институт глобального мониторинга (Worldwatch Institute), «становятся главными *трансляторами* (курсив мой. — О.Я.) результатов научных исследований в научную и технологическую политику» [20, р. 242].

В России роль экоНПО в социальной интерпретации естественнонаучного знания для целей экологической политики была сведена к минимуму. Во-первых, как отмечалось, собственный научный потенциал этих организаций постоянно снижался. Экологическое знание, которое активисты

приобретали в ходе общения с зарубежными донорами и родственными экологическими организациями, годилось главным образом для «внутреннего» потребления, но никак не для публичного политического действия. Во-вторых, до самого последнего времени экоактивисты не ставили себе такой задачи вообще, поскольку не были ориентированы на непосредственное участие в политическом процессе. Да, в конфликтах с региональными и федеральными властями лидеры экоНПО обращались за помощью к научным экспертам, но, как правило, лишь в целях достижения успеха в конкретной кампании. Возникла, по выражению Д.Н. Кавтарадзе, «цепь блокирования» каналов, распространяющих научное знание.

Приведу один пример. В 1997 г. произошло знаменательное, с точки зрения интересующей нас проблемы, событие. Социологи были призваны руководить проектом («Роль местных экологических некоммерческих организаций в деле охраны окружающей среды»), который ставил далеко не тривиальную задачу — самоанализа, рефлексии активистов по поводу их собственной деятельности. За ним последовал проект «Усиление экологических некоммерческих организаций на областном и местном уровнях России: распространение опыта, навыков и информации» (1998–1999). Какое же место заняла наука в политической интерпретации своих данных?

К сожалению, практически никакого. Как видно уже из названий проектов, наука не рассматривалась их авторами и участниками в качестве «усилителя» деятельности экологических организаций. Во всех шести регионах России, где осуществлялись проекты, вторичный анализ их результатов показал, что в качестве основных ресурсов были названы финансовые, человеческие и организационные ресурсы. Причем неоднократно подчеркивалось, что самыми важными для экоНПО являются человеческие ресурсы. С кем предлагалось сотрудничать? С другими экоНПО, населением, местной властью, другими, в частности, правозащитными организациями. Но не с научными! Лишь на одном из многочисленных семинаров, проведенных в рамках этих проектов, эксперт из США напомнил, что существуют фундаментальные исследования Римского клуба по инновационному обучению, имеющие прямое отношение к оценке воздействия на окружающую среду [21].

Почему это произошло? Почему и социологи, и активисты «забыли» про науку, вспоминая лишь иногда об экспертах? Я вижу несколько причин возникновения подобной ситуации.

Прежде всего, это социальный заказ — западному работодателю не нужна была российская наука и ее политические рекомендации, что было четко видно по результатам предыдущих проектов. Совсем не случайно среди участников множества встреч в рамках названных выше проектов не оказалось крупных ученых из местных университетов и исследовательских институтов. Далее, руководившие проектом социологи выступали здесь не от имени науки, а как лидеры общественной ассоциации «ЭкоСоциология». Смена профессиональной роли — научного работника на социального менеджера, а фактически произошло именно это, — никогда не проходит даром. Дистанция теряется, и вчерашний социолог

начинает смотреть на проблему глазами активиста. Приведу определение экологической политики, данное социологами — лидерами названных проектов: «Экологическая политика — это взаимодействие различных экономических, социальных и политических структур, осуществляющих целенаправленную управленческую деятельность, направленную на реализацию избранной стратегии охраны природы и оздоровления окружающей среды» [22].

Как видим, научное сообщество оказалось исключенным из числа субъектов экологической политики. Говорится об «избранной» (кем?), но не о научно-обоснованной стратегии охраны природы. Наука не была упомянута названными авторами ни в качестве агента экополитического процесса, ни в роли генератора инноваций, касающихся моделей экологического управления.

В заключение заметим, что в силу экономических и политических обстоятельств лишь очень немногие эконоНПО (Центр экологической политики России, Союз «За химическую безопасность») могут себе позволить ставить стратегические экополитические задачи. Но и они начинают подвергаться растущему давлению со стороны властных структур, как только приступают к конкретному анализу высоко рискованных объектов и ситуаций (ядерные реакторы, заводы по уничтожению химического оружия, загрязнение среды вследствие испытаний ракетного оружия и других видов аэрокосмической деятельности).

Роль эпистемных сообществ

Сетевые системы существуют не только в сфере принятия решений или в среде зеленых организаций. В науке политический класс подобных систем получил название эпистемных сообществ (*epistemic communities*). Такое сообщество представляет собой сеть профессионалов, с признанной эрудицией и компетентностью и владеющих политически применимым знанием в некоторой проблемной области.

Эпистемное сообщество обычно обладает следующими признаками: (1) некоторым общим набором нормативных представлений, создающим ценностно мотивированное основание для действий этого сообщества; (2) общим представлением о характере причинных связей, обретенным сообществом в результате прошлого опыта, который служит ему базисом для прояснения многосторонних связей между возможными политическими решениями и их результатами; (3) общими критериями валидности, то есть intersубъективными, внутренне определенными критериями для взвешивания и оценки знания, которое предполагается применять в сфере их экспертизы; (4) общей практикой экспертных процедур, то есть набором общих приемов, связанных с типом проблемы, на решение которой направлена их профессиональная компетенция [23, р. 3].

На Западе эпистемные сообщества и их сети выполняют важные политические функции: они артикулируют причинно-следственные связи в сложных проблемах, помогают государству определить его интересы, формулируют повестку для общественных дебатов, идентифицируют ключевые

чевые проблемы для переговоров между конфликтующими сторонами, предлагают конкретные политические решения. Вместе с тем, поскольку контроль над информацией есть существеннейший компонент всякой власти, эти сообщества являются сердцевинной ее «когнитивного» узла.

Солидарность членов таких сообществ зиждется на общих интересах и убеждениях в истинности некоторых форм знания. Она вытекает также из нежелания иметь дело с политическими проблемами, находящимися вне пределов их компетенции. По Хаасу, подобное сообщество есть «думающий коллектив», социальная группа с некоторым общим стилем мышления [23, р. 3]. Общая политическая и экспертная практика, повторяющиеся неформальные и институциональные связи, возможность пользоваться общими базами данных — все это также укрепляет солидарность членов сообщества и его устойчивость в целом.

Хаас вслед за У. Бекон и другими указывает на потенциальные опасности формирования таких сообществ. Их главная цель — *политическое влияние*, которое они могут оказывать на процесс принятия решений и политику в целом посредством производства и распространения «согласованного» знания. Коль скоро преследуется именно такая цель, подобные сообщества вовсе не обязательно будут продуцировать знание, необходимое для решения некоторой конкретной задачи.

Политически эпистемное сообщество есть завершенная форма господства экспертного знания в обществе риска. «Передача полномочий в решении политических проблем элитарным группам профессионалов... может еще более ограничить доступ населения к рычагам власти» [23, р. 24]. Этот сдвиг — еще одно свидетельство победы инструментального разума над фундаментальными человеческими интересами.

Подобные сообщества существовали и в СССР, но, конечно, не в экополитической, а в совсем других институциональных сферах. Что касается сообществ, ориентированных на экополитику, то они начали формироваться перед перестройкой и в самом ее начале.

Первоначально такие сообщества возникали спонтанно как сообщества единомышленников. Они ни в коей мере не являлись институциональными структурами. Напротив, в отличие от западных эпистемных сообществ, российские были по большей части неофициальными и даже латентными. Это были спорадически возникавшие сообщества, инициированные в те времена, как правило, государственным заказом. Хотя они и представляли собой сообщества единомышленников, они не были чисто научными объединениями (со своей устоявшейся этикой, правилами игры, информационными связями и т.д.). Среди их членов было много чиновников из формировавшихся экологических ведомств СССР, а также членов «Дружины охраны природы», «Социально-экологического союза» и других общественных организаций. Всех их объединяло стремление решить политически важную конкретную экологическую проблему. Но когда она была решена (или отложена), такое сообщество, как правило, распалось.

Наконец, из-за отсутствия доступа к нужным источникам информации (а в те времена необходимой информации просто могло не суще-

ствовать вообще) эти сообщества далеко не всегда могли производить политически релевантное знание — сама экологическая политика, ее цели и институциональные структуры находились еще в начальной стадии формирования.

В отличие от западных, российские сообщества данного типа можно квалифицировать как ценностно-рациональные (братства, неформальные объединения), поскольку они цементировались именно общими целями и ценностями (охраны природы). Это был период формирования и выхода на публичную арену российского экологического авангарда, деятельность которого была направлена на блокирование наиболее экологически опасных партийно-государственных решений. Организационная и тем более институциональная база этого авангарда тогда только еще начала формироваться, политический опыт лишь приобретался, сама область экполитики еще не имела четких рамок. Как только российские институты государственной экологической политики сформировались, их важной частью стала *экологическая экспертиза*, которую можно отнести к категории эпистемных сообществ лишь условно.

Российские экспертные сообщества с самого начала не были похожи на своих западных собратьев из-за резкого различия социально-политического контекста. Прежде всего, в «переходной» России не было государства в западном смысле этого слова. Существовала группа элит, борющаяся только за собственные интересы и потому никогда не интересовавшаяся общественным благом. Именно поэтому государство не могло идентифицировать свои экологические интересы как целого.

Да, в предреформенное десятилетие такие дебаты велись. Но, во-первых, они контролировались сверху. Во-вторых, если брать сферу экологии, их политические рамки жестко ограничивались — Чернобыль, химическое и радиоактивное загрязнение, производство и захоронение ядерных материалов — все это не подлежало публичному обсуждению. В-третьих, если дебаты и возникали, то они неизменно переводились из политической в организационно-инженерную плоскость — заморозить, отменить, перенести в другое место... Наконец, в начальный период реформ слабеющая партийная элита почему-то решила, что публичные дебаты на некоторые экологические темы могут сыграть роль предохранительного клапана для нарастающих политических протестов. В любом случае на протяжении всего десятилетия 1980-х гг. инициаторами таких дебатов выступали чаще всего писатели, архитекторы и общественные деятели (В. Белов, С. Залыгин, Д. Лихачев, В. Распутин, Ф. Шипунов), причем в дискуссиях преобладал нравственный, а не научный обертон.

Что же касается «повестки для переговоров», то с кем всемогущая Система хотела бы вести переговоры? Проблема переговоров стала возникать только тогда, когда стали появляться очаги массового протеста, а затем — ячейки гражданского общества.

Как показало наше исследование, эпистемных сообществ, особенно на региональном уровне, не было по причинам как общего, так и местного порядка. Во-первых, как мы уже говорили, часть академической и

университетской интеллигенции предпочла бизнес и политику академической деятельности. Другая часть просто эмигрировала. Еще одна превратилась в организаторов альтернативных центров прикладных исследований и разработок. Во-вторых, многочисленные периферийные университеты не успели накопить потенциала профессионализма и респектабельности, что позволило бы им стать партнерами местной власти. В-третьих, столичные и периферийные элиты чем дальше, тем больше предпочитали пользоваться услугами «своих» экспертных групп, нежели культивировать научную среду как таковую, которая только и может породить подобные сообщества.

Итак, старые академические структуры (исследовательские институты, университетские кафедры, лаборатории, экспедиции) находятся в глубоком упадке; часть из них распалась на независимые исследовательские и учебные подразделения. Внутри сохраняющихся старых структур возникли новые ячейки, выживающие за счет зарубежных доноров или же обслуживания местной и федеральной власти.

Возникло много новых исследовательских институтов и учебных заведений, связанных с рынком товаров, услуг и информации (изучение общественного мнения и потребительского рынка, качества товаров и услуг, рынка жилья, обслуживание банковской системы и др.). Те из российских профессионалов высокого класса, кто не покинул страну, стали экспертами международных исследовательских институтов и консультационных фирм. Наконец, сегодня каждая ветвь федеральной власти имеет свои собственные или квазинезависимые институты или экспертные комиссии, которые, как правило, дублируют друг друга по принципу контрбаланса.

Очевидно, что такая масштабная реструктуризация тела науки привела к атомизации исследовательских ячеек, распаду их научных связей и разрушению их «экологических ниш», что препятствует формированию действительных эпистемных сообществ. В то же время в среде властных структур и НПО уже сложились элиты, претендующие на статус экспертных групп, принимающих «окончательные» решения.

Что же касается солидарности в подобных группах, то она носит открыто утилитарный характер: это *солидарность-для-самосохранения*. Я имею в виду сколачивание групп для получения грантов, которые позволяли бы научным работникам поддерживать свой профессиональный потенциал и включаться в международные сети информационного обмена.

Между тем, для адекватной политической интерпретации экологического знания важна совсем другая — критическая — роль подобных групп. О значимости критической, оппонирующей функции зеленого движения писал еще 20 лет назад А. Турэн [24]. Как носитель критического (или альтернативного) взгляда, это движение создает периодические импульсы для пересмотра сложившихся принципов производства знаний, для артикуляции новых критериев развития науки и технологий.

Заключение

Действительная экологическая политика не может обойтись без существования авторитетных и независимых научных сообществ. В обще-

стве должно быть не только разделение властей, но разнообразие научных экспертных структур. На мой взгляд, усилиями Центра экологической политики России *процесс восстановления* таких сообществ уже начался. Я имею в виду не только возрастающую концентрацию научных сил вокруг этого Центра, но и его усилия по разработке концепции российской экологической политики и на ее основе — портфеля исследовательских и иных проектов [25].

Любопытно посмотреть, как при формировании этого портфеля распределены роли между научным сообществом, экоНПО и государственными учреждениями. Если приоритеты российской экополитики разрабатывались практически целиком сообществом ученых, то портфель проектов формировался более сложным образом. Всего Центром было заявлено 146 проектов, в том числе по разделу экономики — 32, права — 14, управления — 12, образования — 27, здоровья как индикатора экополитики — 28 и приоритетов в области сохранения биоразнообразия — 32. Каждый проект имел иницирующую организацию и организацию-исполнителя.

В категории «инициаторы проекта» ведущее место заняли экоНПО — 63% от общего числа заявок, затем научные организации — 26% и госучреждения — всего 11%. Среди предполагаемых исполнителей проектов научные сообщества взяли безусловный верх — 74%, затем идут экоНПО — 20% и госучреждения — 10%. Заметим, что один проект мог инициироваться и исполняться одной или двумя организациями. Представляется, что такое распределение является «нормальным», то есть соответствующим поставленным задачам. Закономерно (в наших ненормальных условиях) и то, что как инициаторы, так и исполнители проектов попеременно выступали в роли то ученых, то лидеров общественных экологических организаций. Наконец, самое главное, что в этой среде, а она насчитывает несколько сот человек, явно сформировалось *иницирующее и организующее ядро*, благодаря усилиям которого стала возможной вся эта огромная подготовительная работа.

Иными словами, эпистемным сообществам, как и экоНПО, нужна *порождающая среда*. В данное понятие я включаю: заинтересованность государства и общества в развитии науки в целом; развитую финансовую и институциональную базу; длительное и устойчивое развитие университетов и научных институтов одновременно как институциональных структур и механизмов систематического воспроизводства преподавателей и исследователей; материальное благополучие этих людей, позволяющее им сконцентрироваться на своих занятиях; устранение административного и политического контроля над подобными коллективами, который ограничивает формирование научных школ и сообществ. Тем самым, необходимо признать, что *структура познавательных возможностей* для сообщества ученых столь же важна, как для экологического движения структура возможностей политических.

Наконец, с моей точки зрения, создаваемая зелеными «адвокативная наука» должна не только защищать их интересы или интересы конкретных территориальных сообществ. Эта наука призвана играть важную

роль интерпретатора и транслятора концепций и практик транснациональных экологических сообществ в сфере национальной и местной экологической политики.

Литература

1. Lowrance W. The Nature of Risk // Societal Risk Assessment. How Safe is Safe Enough? / Eds. R. Schwing, W. Albers. N.-Y.; L., 1980.
2. Douglas M., Wildavsky A. Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technical and Environmental Dangers. Univ. of California Press, 1982.
3. Luhmann N. Ecological Communication. Chicago, 1986.
4. Russel M., Gruber M. Risk Assessment in Environmental Policy-Making // Science. 1987. Vol. 236.
5. Slovic P. Perception of Risk // Science. 1987. Vol. 236.
6. Beck U. Risk Society. Towards a New Modernity. L., 1992.
7. Beck U. World Risk Society. Malden: MA, 1999.
8. Смирнов С.А. Фундаментальная вещь в себе // Независимая газета. 1996. 9 июля.
9. Тихонов В. Закрытые города в открытом обществе. М., 1996.
10. Школьников В. Эмиграция высококвалифицированной рабочей силы из бывшего СССР // Тихонов В., Долгих В., Леднева Л., Школьников В. Утечка умов: потенциал, проблемы, перспективы. М., 1993.
11. Адам Г. Только совместный труд ученых поможет модернизировать промышленность // Финансовые известия. 1996. 14 ноября.
12. Заварзин Г. Смена парадигмы в биологии // Вестник Российской Академии Наук. 1995. Т. 65 (1).
13. Яницкий О.Н. Методологические вопросы исследования социально-экологических проблем // Вопросы философии. 1982. № 3.
14. Yanitsky O. Social Interpretation of Ecological Knowledge // Social Sciences (Moscow). 1983. № 3.
15. Catton W., Dunlap R. Environmental Sociology: A New Paradigm? // American Sociologist. 1978. № 13.
16. Dunlap R. Paradigmatic Change in Social Sciences // American Behavioral Scientist. 1980. Vol. 24. № 1.
17. Eder K. The Institutionalization of Environmentalism: Ecological Discourse and the Second Transformation of the Public Sphere // Risk, Environment and Modernity. Towards a New Ecology / Eds. S. Lash, B. Szerszynski, B. Wynne. L., 1996.
18. Яницкий О.Н. Россия как общество риска: контуры теории // Россия: трансформирующееся общество / Под. ред. В.А. Ядова. М., 2001.
19. Грешневиков А., Лемешев М. Подоплека «устойчивого развития» // Независимая газета. 2000. 2 июня.
20. Jamison A. The Shaping of the Global Environmental Agenda: The Role of Non-governmental Organizations // Risk, Environment and Modernity. Towards a New Ecology / Eds. S. Lash, B. Szerszynski, B. Wynne. London, 1996.
21. Гусев В. Участие общественности в принятии решений // Участие. Социальная экология регионов России (альманах) / Отв. ред. И. Халий. Вып. 4. М., 1999.
22. Аксенова О., Халий И. Предисловие // Участие. Социальная экология регионов России (альманах) / Отв. ред. И. Халий. Вып. 4. М., 1999.
23. Haas P. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination // International Organizations. 1992. Vol. 46. № 1.
24. Touraine A. The Voice and the Eye. Cambridge, 1981.
25. Приоритеты национальной экологической политики России: Портфель проектов / Ред. В.М. Захаров. М., 1999.